

Манекен, прислушивающийся к беседе ангелов. Недаром при виде осла, Годо — созерцатель восклицает: «О мудрость осла! его непреходящая философия, его большие глаза, лапешные зрачки, его толстая кожа, не чувствующая ударов! простота его желаний, отсутствие роско-

ши: вода, хлеб и созерцание.

О воля дремлющая в шерстяном сердце!»

На голом камне распускается редчайший цветок. «Шерстяное» сердце преобразуется в сердце вечное.

Елена Павловская.

## B. GROETHUYSEN

Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche.  
Paris, Librairie Stock, 1926.

Блестяще и увлекательно написанная книга Грутхейсена несомненно отвечает своему заглавию. Это не столько введение в изучение германской философской мысли последних десятилетий, сколько история одной — правда, кардинальной — философской проблемы. Проблема, ставшей особенно острой во вторую половину XIX века — о сущности философии и праве ее на существование.

Что такое философия? и можно ли в наше время быть философом? — вот вопросы, которые должна была поставить себе философская мысль после «крушения» метафизических систем начала XIX века; и можно сказать, что весь XIX век был для философии веком борьбы за право — или вернее — за оправдание собственного существования.

«Никто больше не верит в философию», говорит Ницше, «потому что философия сама больше не верит в себя». И действительно, в то время как в древности, в средние века и даже в новое время, философия претендовала на роль *reginae scientiarum*, в XIX веке она скромно старается отказать от всякого самостоятельного значения и от всякой самостоятельной роли заставить пропеть себе свою прежнюю гордыню.

Науки эманицировались от философии; даже психология,

«наука о душе» и та претендует на звание науки, на научный, экспериментальный метод; хочет быть «психологией без души»; протестует против смешения ее с метафизикой. Термин «метафизика» стал в XIX веке почти бранным словом, и претензии философии на «единственно достоверное познание вечных истин» вызывают даже не возмущение, а только смех.

Что же остается на долю философии? Ведь если она наука, познание, то она должна же иметь и собственный метод и особый объект познания.

Но повидимому, найти такой объект и такой метод нелегко. И мы видим как все больше и больше философия превращается или в историю философии, или в теорию научного познания, в методологию и теорию науки. Но история философии все же не философия, а только история; а методология и теория науки есть не что иное как попытка примирить науку с существованием философии, из *reginae* превращающейся в *ancillam scientiarum*. Попытка не удачная вдобавок, ибо наука, не желающая иметь *reginam*, не нуждается в *ancillam*.

Приходится, повидимому, признать, что философия есть дело прошлого. Что в наше время, хотя еще и можно быть профессором философии, но быть философом уже нельзя.

Таково было *grosso modo* положение германской философской мысли до Ницше. Не таково оно теперь. Как это ни странно, говорит Грутхейсен, обращаясь к французскому читателю, в Германии вновь существует философия и в то время как во Франции «un jeune homme qui... croit avoir quelque chose à dire... fera un roman... en Allemagne il essaya à faire une Philosophie».

Этим «возрождением» философии Германия по мнению Грутхейсена, главным образом, обязана Ницше, освободившему философию от связи с наукой, противопоставившему ее науке не как познание *более* объективное, чем эта, а наоборот, как наиболее субъективное выражение творческой личности философа. Вдобавок, по мнению Ницше, нет и не может быть познания объективного. Всякое восприятие есть выбор, интерпретация, реакция живого существа на окружающий его на него действующий мир. Жизнь сама творит себе свой «мир», и философия, творец «миросозерцания» только более откровенно и сознательно делает дело жизни.

Нет и не может поэтому быть «общепризнанной» философии, одной для всех, ибо каждый философ, поскольку он заслуживает этого имени, должен сам творить себе свой собственный, его личность выражающий мир. И поэтому, хотя философы прошлого стремились к абсолютному познанию вечных и общезначительных истин, они de facto только выражали каждый свой собственный, индивидуально отличный мир. В этом как раз залог их ценности и непреходящего исторического интереса. Каждый из них, творя собственный мир, творил новые ценности; в этом, — в нахождении новых ценностей — и должна заключаться роль философии.

Оставим в стороне виталистический прагматизм и биологизм Ницше, — не будем искать

«источников» его учения. Это все, по мнению Грутхейсена, не важно. Что важно, это то, что Ницше открыл для философии новую область, область ценностей; и, пожалуй, еще важнее то, что он постарался найти для философии ей одной принадлежащую область творчества, что для него философия вновь воплотилась в жизнь. Мы не будем следовать за Грутхейсеном в его изложении решений — или попыток решений — Дильтея, Зиммеля, Гуссерля. Философия духа Дильтея, философия жизни Зиммеля, философия чистой интуиции Гуссерля охарактеризованы им настолько удачно, насколько вообще возможно в нескольких словах охарактеризовать философское учение.

Грутхейсен вполне прав, указывая, что концепция Ницше, Зиммеля и Дильтея не выводят нас на широкую дорогу философского творчества. Они прекрасно объясняют нам прошлое философии, вскрывают субъективный характер псевдо-объективных систем. Но может ли философская мысль отказаться от истины? И может ли философ сознательно творить свой субъективный мир? Уйдя от науки не попадет ли он в царство фикции, в царство романа? Познание смысла собственной деятельности не убьет ли в нем главный импульс к творчеству?

Грутхейсен прав, и мы могли бы указать, как на подтверждение его сомнений на тот факт, что из школы Зиммеля и Дильтея вышло много прекрасных историков, но не вышло ни одного «философа» и что единственный последователь Ницше, который мог бы претендовать на это звание, Н. Гартман не отвергает объективного смысла познания и не отказывается от метафизики.

Нам хотелось бы однако сказать несколько слов о «феноменологии» Гуссерля и его школы. Грутхейсен, как нам кажется, слишком суживает значение феноменологического метода, сводя его к анализу имманент-

го смысла интенциональных актов. Феноменологическая интуиция стремилась к большему: она, возрождая метафизический устремления древней философии, пытается достигнуть интуиции сущностей; отказываясь иметь дело с «фактами», констатируемые и объясняемые наукой, она не уходит от реальности, замыкаясь в царство чистой мысли. Наоборот, устремления ее онтологичны. Она стремится научить нас «видеть» сущности, те quidditates, те и д е и, о которых так много писали и смысл которых так мало понимали историки.

Как раз сравнение с теорией познания Ницше могло бы бросить свет на сущность феноменологического метода: познание реальной действительности, как справедливо учил Ницше, всегда активно; оно никогда не бывает чистым восприятием, чистой интуицией. Оно всегда пронизано волевыми устремлениями. «Феноменологическая редукция», «отвлечение от реальности», о которых говорит Гуссерль, не есть абстракция; это просто на просто уничтожение (nichts-ausführung, suppressio) с сложным познавательным акте его волевой, активно проникающей в действительность, компоненты. Освобождение от этого волевого момента, от установки на действие, вот что дает возможность достигнуть чистой интуиции. Что чистая интуиция не может иметь своим объектом реальной действительности само собой понятно: эта «реальная действительность» коррелятивна действию воле, активности и жизни. Но мир интуиции не менее, а более реален, чем этот мир. Мир сущностей и качеств — не абстракция. Он не б е с д н е е, а б о г а ч е мира жизни и мира науки.

Здесь, кажется нам, основная, слишком мало освещенная Грутхейсенем, особенность современной философии; в стремлении к обогащению нашего опы-

та, нашего мира, в отказе от упрощающего действительность научного объяснения лежит то новое, что объединяет столь непохожие друг на друга тенденции Зиммеля, Дильтея, Ницше и Гуссерля. И в этом, анти-научном устремлении путь к освобождению и к возрождению философской мысли.

Немалую роль тут сыграла и сама наука — по о современной науке Грутхейсен не говорит. Придется нам поэтому отложить рассмотрение этого вопроса до другого раза.

### Emile Meyerson.

La déduction relativiste. Paris, Payot 1925

В отличие от всех посвященных теории относительности философских работ, книга Э. Мейерсона не пытается дать «популярного и общедоступного» изложения теории Минковского и Эйнштейна. И в этом, по нашему мнению, его огромное преимущество.

Действительно, как заявляет сам Мейерсон, изложить на «простом», «общепонятном» языке сложную физико-математическую теорию невозможно. Тот, кто не обладает нужной — и очень серьезной — математической подготовкой, никогда не поймет точного смысла учения. Математический аппарат не «внешняя одежда», от которой можно «свободить» теорию относительности; он неразрывно связан с самым существенным ее содержанием. Всякий «перевод» языка формул и математических символов на язык обыденной жизни и здравого смысла неизбежно сопровождается *искажением*. И лучше гораздо *не излагать* теории, чем внушать читателю превратное мнение, что он понимает, что в действительности ему недоступно. Сознание непонимания, по крайней мере, уберет его от тех безчисленных ошибок, которые делались почти всеми философами, писавшими о теории относительности: ибо все они,